

## СОЦИОЛОГИЯ: ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ



### ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ ЗИНАИДОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ СИКЕВИЧ

— *Вы по образованию филолог-славист. Затем вы защитили диссертацию по специальности «прикладная социология». Как получилось, что вы стали социологом?*

— В общем, случайно. После окончания университета я в течение двух лет работала гидом-переводчиком с профсоюзными группами из Чехословакии и Польши. Работа, хотя и увлекательная, но временная, не дающая твердого заработка. Кстати, позже, уже став социологом и даже кандидатом наук, в летние месяцы я продолжала подрабатывать гидом уже в качестве «мэтра» в этой профессии. Сама выбирала себе группы с интересными маршрутами и благодаря этим летним поездкам сумела объехать весь Союз, от Калининграда до Байкала. Тяга к путешествиям у меня сохранилась до сих пор.

А в социологию меня «устроила» подруга, близко знакомая с семейством Ядовых. В конце 1966 г. как раз создавалась будущая лаборатория социологии молодежи, которую возглавил ученик Ядова В.Т. Лисовский, и Владимир Александрович направил меня «на просмотр» к еще молодому тогда руководителю новой исследовательской группы. Мы друг другу «приглянулись», и с декабря 1966 г. я стала сотрудником НИИКСИ, где работаю и по сей день, — начинала младшим научным сотрудником, а теперь заведу лабораторией этнической социологии и психологии. Так что Владимир Александрович стал для меня «крестным» при выборе новой профессии, за что я ему очень признательна.

— *Область ваших исследований — прежде всего этнические отношения. Кем вы считаете себя в настоящее время: социологом или этнологом?*

— К этнологии я не имею ровно никакого отношения. Конечно же, я социолог. К тому же этнические отношения — не единственный предмет моих занятий. Просто так сложилось, что А.О. Бороноев, пригласивший меня на факультет, подыскивал человека, который обеспечил бы чтение курса по этнической социологии. Я же к тому времени уже участвовала в нескольких всесоюзных опросах по проблемам этнических отношений, и этническая проблематика меня очень интересовала. Кроме того, молодежными исследованиями на тот момент я уже пресытилась. Так что на кафедру культурной антропологии и этнической социологии я попала тоже случайно, хотя об этом не жалею. Правда, немного обидно, когда возникает вопрос, социолог ли я.

Этническую социологию я, кстати, читаю только на нашем факультете, а в Университете им. А.И. Герцена, где я работаю по совместительству, за мной — курсы общей социологии, гендерной социологии и методов социологического исследования. Так что проблема этничности — лишь одна из многих, которой я занимаюсь.

А по самоощущению я, прежде всего, социолог-прикладник. Потому что наибольшее удовольствие получаю от исследований, особенно анализируя полученные данные. Это настоящее творчество, не сопоставимое с педагогической деятельностью, хотя и в преподавании, конечно же, есть элемент творчества.

— *Кто вы как ученый, и каким был ваш путь в науке? Чем были вызваны ваш выбор и ваши приоритеты в профессиональной работе, ваше увлечение наукой?*

— Как социолог я выросла из НИИКСИ и в НИИКСИ. Это сегодня он приютился в качестве «приживалки» социологического факультета в нескольких комнатах третьего этажа, вызывая к себе у кого — сочувствие, а у кого — пренебрежение, как бедная родственница, которой остается вспоминать о своем былом блеске.

А в семидесятые годы НИИКСИ блистал в прямом смысле. Ведь это был первый социологический институт в СССР, открывшийся по инициативе Б.Г. Ананьева в 1965 г., задолго до ИСЭПа и ИСАНа. То униженное положение, в которое он попал в последние годы, никак не соответствует ни тому вкладу, который Институт внес в формирование отечественной прикладной социологии, ни кадровому составу, даже нынешнему, «сжавшемуся» до пары десятков стареющих сотрудников.

Мы все, в том числе и я, учились социологии на практике, набивая шишки, неумело, но с большой охотой и рвением. Многие лично мне, думаю, и другим, дали семинары, которые регулярно проводились В.А. Ядовым. Там мы знакомились с разработками зарубежных исследователей, постигали азы эмпирического исследования.

Первая, напечатанная на ротапринте и потому «слепая», книжка по теории социологии передавалась из рук в руки с не меньшим бережением, чем самиздатовские издания тех лет. Если Владимир Александрович был моим первым учителем, то моим первым учебником стало «Введение в социологию» Яна Щепаньского (1966 г.), затрепанный томик которого я храню до сих пор.

Мне посчастливилось познакомиться с профессором Щепаньским на конгрессе польских социологов в начале девяностых годов, где он выступил, несмотря на свой уже очень почтенный возраст (ему было под девяносто), с блестящим докладом о будущем мировой социологии. До своей кончины (через год после этой встречи) он оставался президентом Польской социологической ассоциации, достойным преемником своего учителя Феликса Знанецкого. Я сфотографировала на память пана Яна, и его фотография до сих пор хранится у меня в лаборатории с надписью «моей российской коллеге с надеждой, что социологи помогут сделать мир хоть немножко лучше».

Огромное влияние на мое профессиональное становление оказало и общение на первых социологических конференциях, которые, в частности, организовывал в Тартуском университете эстонский социолог Юло Вооглайд, а позже и на ежегодных встречах социологов-«молодежников» в Каунасе, инициатором и бессменным «хозяином» которых стал доцент Каунасского политехнического института Юозас Леонавичюс. Их имена сегодня мало кому известны, но тогда наш круг был очень узким, все друг друга знали и хотя временами спорили и даже ссорились, воспринимали свое небольшое сообщество как семью, противостоящую официальной идеологии.

Не секрет, что в то время признали право на существование, и то со скрипом, только за «прикладной социологией», ставшей одной из специальностей «внутри» философии, потому-то я стала кандидатом философских, а не социологических, наук. В качестве теории социологии фигурировал исторический материализм, что никем не подвергалось ни малейшему сомнению, точно так же, как таблица умножения. К слову сказать, то, что по своему базовому образованию я была филологом, а не философом, как большинство моих коллег, позволило мне быстрее и легче освободиться от груза марксистско-ленинских конструкций.

В то время нас, советских социологов, я имею в виду начало семидесятых годов, было не только мало, — от силы человек 100, и то, если подсчитать буквально всех, кто занимался социологией, в том числе и в союзных республиках, главным образом, в Прибалтике, — но между нами не было и особого возрастного барьера. Нашим мэтрам — Ядову, Здравомыслову, Иконниковой — в те годы было около сорока, к тому же

они были удивительно молоды по своему поведению и мироощущению и охотно принимали участие в наших капустниках и посиделках. Как ни странно, в советских условиях наша среда была, пожалуй, демократичнее, чем сегодня, когда статусные дистанции и регалии во многом обуславливают взаимоотношения социологов.

Конечно, приходилось выполнять и идеологические заказы; так, в течение нескольких лет мы, без особого рвения, «сочиняли» программы коммунистического воспитания студентов — этакие декларации о гармонично развитой личности. Но, кроме этого, были и настоящие, большие исследования, в которых тогдашняя конъюнктура просматривалась на минимальном уровне. Заказчиком и «спонсором» этих исследований для нашей лаборатории чаще всего бывал ЦК комсомола, который, надо сказать, в построение инструментария никогда особенно не вмешивался. По результатам исследований мы писали «отчеты» своим заказчикам, которые их чаще всего складывали в ящик, где они так, наверно, и пылились до начала перестройки. Мы же по мере сил пробивались в печать, в основном, тезисами на конференции, но, главное, статьями в ежегодном альманахе НИИКСИ «Человек и общество», который выходит до сих пор.

В лаборатории моим «участком» стала культура молодежи, т. е. ее художественные вкусы, предпочтения, досуговые занятия и т. п. Именно эта область и стала предметом моей кандидатской диссертации на тему «Художественная культура студенческой молодежи», которую я защищала в совете по научному коммунизму и прикладной социологии, — его возглавлял небезызвестный А.К. Белых, оплот марксизма на философском факультете ЛГУ. С моей защитой связаны два забавных факта.

Когда я дала диссертацию для прочтения В.Т. Лисовскому, моему научному руководителю, тот, пролистав введение, сразу сказал: «А где у тебя Брежнев, партийные документы?» Я попыталась возразить, какой-де Брежнев в связи с художественной культурой. На это В.Т. вздохнул и вынул из своего необъятного портфеля толстую общую тетрадь. Как позже выяснилось, это был своего рода идеологический цитатник на все случаи жизни — от эстетических оценок молодежи до социометрии в трудовом коллективе. Из этого талмуда я извлекла две мудрых мысли Ленина, одну — Брежнева и парочку постановлений пленумов ЦК. Так что, если бы не Владимир Тимофеевич, я бы, наверно, не защитилась, потому что искать эту чушь сама явно бы поленилась, а без нее в кандидаты наук «не пушали».

Второй факт связан с самой защитой. Один из столпов научного коммунизма, член Совета, меня огорошил вопросом: «Вот вы все говорите: выборка, выборка... А что такое собственно выборка?» Я сначала

остолбенела от такого «детского» вопроса, а потом с готовностью стала рассказывать о типах выборов, а т. к. рассказывала долго и со знанием дела, члены Совета, очевидно, все поняли и вопросов по сути диссертации мне задавать не стали.

Так я стала уже остепененным социологом.

— *Вами опубликованы работы в области этносоциологии. Не могли бы вы рассказать о них подробнее?*

— Здесь надо уточнить. Я уже говорила о том, что мои научные интересы выходят далеко за пределы этнической социологии. Из полутора десятка моих книг только четыре относятся к этносоциологическим публикациям. Это два учебных пособия (1991 и 1999 гг.) и две монографии, написанные по исследованию, которое в форме гранта спонсировал Фонд Сороса. Подробнее расскажу только о тех, которые считаю наиболее важными, знаковыми в своей профессиональной судьбе.

Прежде всего, это моя первая книжка, опубликованная в конце 1990 г.: «Политические игры или политическая борьба? Партии, движения, ассоциации глазами социолога» (Л.: Лениздат, 1990). Она написана в жанре научной публицистики и посвящена зарождавшимся в то время общественным движениям и гражданским инициативам, которые стали возможны только благодаря так называемой перестройке.

Книжка эта во многом декларативная, в чем-то наивная, но это мое первое неподцензурное «детище», где я наконец-то почувствовала себя свободной, неограниченной в своих размышлениях и выводах никакими догматами и партийными постановлениями. Ко всему прочему это, насколько мне известно, еще и один из первых справочников, своего рода «путеводителей» по многопартийному Ленинграду, который только-только почувствовал на вкус «это сладкое слово — свобода». Тираж был большим (6500 экз.), но он мгновенно разошелся. Готовили даже второе издание, но события 1991 г. многое заставили переосмыслить и переоценить, и от второго издания я сама отказалась.

Так, например, Латвийский народный фронт или литовский «Саюдис» воспринимались нами в конце 1980-х как безусловные соратники по борьбе за демократию, помню, особенно был популярен лозунг, выдвинутый, кажется, Ландсбергисом: «За нашу и вашу (имелась в виду Россия) свободу!» Но уже менее, чем через год, сквозь демократическую фразеологию наших прибалтийских коллег стали прорастать ростки этнического национализма, которые очень скоро привели к явной дискриминации некоренного населения. Свобода оказалась свободой только для титульного народа.

В то время я была человеком политически ангажированным, непременным участником митингов и демонстраций, организуемых ленин-

градским Народным фронтом, но динамика событий в Прибалтике и других бывших союзных республиках привела меня к разочарованию в своем политическом романтизме. Тогда-то я впервые серьезно заинтересовалась этническими процессами, т. к. поняла, что для национальных элит кровная связь намного значимее политических пристрастий, потому что ею легче манипулировать.

Вторая книга, которую я считаю важной для себя, это монография «Национальное самосознание русских», изданная на средства Фонда Сороса в 1996 г. и ставшая лауреатом конкурса «Гуманитарные науки — гуманитарному образованию». По гранту Фонда удалось провести большое исследование (выборка составила около 1.200 чел.), эмпирические результаты которого и легли в основу этого издания. Почему я ценю именно эту работу? Во-первых, потому, что она оказалась второй по времени выхода в свет (после коллективной монографии «Русские» Института этнографии РАН, вышедшей в 1992 г.) книгой, исследующей социологическими средствами этническую идентичность, образы, нормы и стереотипы, присущие именно русскому народу.

Напомню, что в то, не такое уж давнее время говорить о русской специфике считалось почти неприличным. Те политики или ученые, кто каким-то боком затрагивал эту тему, награждались ярлыком «национал-патриотов» и подвергались всяческому остракизму. И я удостоилась зубодробительной критики одного из московских либералов, после чего, как это уж водится у нас, монография приобрела чуть ли не всероссийскую популярность, а меня на время приписали к консерваторам и «охранителям». Забавно то, что мой досужий критик (я специально не называю его фамилию, это довольно известный человек) заявил о том, что у русских нет и быть не может никакого самосознания, а автор, скорее всего, бывшая «истматчица», которая ухватилась за политическую конъюнктуру.

Забавно это потому, что я не только не преподавала исторический материализм, но и в рядах КПСС никогда не состояла, а рекомендацию к изданию написал В.А. Ядов, очевидно, полагавший, что у русских все же какое-никакое самосознание обнаружить можно.

И, наконец, третья книга, которой я особенно дорожу, называется «Социальное бессознательное» (СПб.: Питер, 2005). Она написана в соавторстве с моими коллегами по лаборатории д. соц. н. О.К. Крокинской и к. пс. н. Ю.А. Поссель по материалам еще одного масштабного исследования, которое в течение шести лет поддерживалось грантами РФФИ и было посвящено тому не вполне рефлекслируемому срезу группового сознания, которое формируется в процессе так называемой «инкультурации», — передачи ребенку в ходе воспитания основных образцов,

стереотипов и норм, присущих носителям данной культуры. Впитывание этого происходит на неосознаваемом уровне и впоследствии уже взрослый человек следует неким стандартам, потому что «так принято» в среде его обитания. Автором этой идеи, которую мы попытались развить на эмпирическом уровне, был великий немецкий психолог К.Г. Юнг и его учение о «коллективном бессознательном». Естественно, для выявления актов социального бессознательного требовались специальные методики, которые были нами разработаны и апробированы в ходе исследования. И само исследование, и монография вызвали довольно острую дискуссию в кругу наших коллег и поэтому не прошли незамеченными.

— *Что наиболее интересно и важно для вас как исследователя: какая проблематика, какие методы, какие стратегии?*

— Если говорить о проблематике, то я человек увлекающийся, и каждая новая проблема, которую я исследую, «вбирает» меня без остатка. Проблематика эта зависит главным образом от грантов, которые получает лаборатория. Перечислю некоторые, наиболее интересные.

Во-первых, это *культурный конфликт и переоценка ценностей*, которые произошли в массовом сознании россиян в ходе социальных изменений конца XX в. Что понимается под культурным конфликтом? Дело в том, что внешняя социальная среда на уровне политических и экономических институтов менялась быстрее, чем эти перемены могли освоить и принять носители иной идеологии и, главное, иной культурной традиции. Ведь ценности, предложенные большевиками, во многом воспроизводили русскую традицию, понятную и привычную. И, как ни странно, в двадцатые годы картина мира русского человека менялась слабее, чем в наше время, в ходе уже второй за последние сто лет социальной трансформации.

Тогда традиционные представления просто окрашивались в «красные», идеологические тона. Так, общинность сменилась коллективизмом, а православная «богоизбранность» — уверенностью в том, что «советское — значит лучшее». Пришлось отказаться, в общем-то, лишь от религиозной составляющей менталитета, которая все равно на уровне неинституциональных норм продолжала потаенно существовать в помыслах и поведении советских людей.

На рубеже восьмидесятых и девяностых годов советскому человеку, а позже россиянину, предложили переосмыслить фактически весь набор нормативных стандартов. Эффективность, успешность, индивидуальная инициативность были предложены в качестве норм социального поведения вместо привычной оглядки на других, долготерпения, нежелания «высовываться», упования на отеческую заботу государства.

Именно это и привело к культурному конфликту, который для старших поколений так и остался не преодоленным.

Но, пожалуй, самой морально непростой переоценкой стала материальная сторона жизни. Язык во многом отражает сущность менталитета народа. Все мы знаем русское слово «достаток» — это понятие, отражающее умеренное благосостояние, достаток — это то, чего должно быть «достаточно» для достойной жизни. Вспомним известное — «бедность — не порок» или «от трудов праведных не наживешь палат каменных». И вдруг, в рамках исторического времени в одночасье было предложено считать деньги, богатство — мерилom и успешности, и эффективности. Кто богат — тот лучше того, кто беден. Конечно, я слегка преувеличиваю, но на уровне массового сознания, особенно молодежи, постепенно утвердилось именно такое мировосприятие. На этом фоне относительно «бедная» интеллигенция, которая во многом выстрадала политические перемены, вдруг превратилась из «совести народа», какой традиционно себя числила, в неких маргиналов, в сторону которой делаются по привычке определенные реверансы, но тем в придачу к орденам и званиям все и ограничивается.

Герои нашего времени — обладатели яхт и золотых унитадов. Естественно, подобная трансформация не могла не «ударить», причем больно, по привычной морали и картине мира, которая представлялась незыблемой. Об этом повествует моя книга 1995 г. «Расколотое сознание».

Во-вторых, это *проблема* социальных и социально-психологических дистанций, а попросту говоря, *деления на «своих» и «не-своих», а, следовательно, «чужих»*. Это стереотип традиционного общества, который препятствует не только этнической толерантности, но и в целом позитивным социальным взаимоотношениям людей различных политических взглядов, разного уровня образования и доходов, различной степени ценностной модернизации. «Чужие» у нас почти всегда вызывают, мягко говоря, неприязнь или, во всяком случае, недоверие, ожидание чего-то неприятного, «недоброго». Характерно, что эта установка уживается в нашем сознании с уверенностью в том, что «мы» — чуть ли не самый добрый народ на свете. Действительно, данные многих исследований, не только моих, показывают, что именно доброта относится к числу наиболее частотных русских автостереотипов.

Как же так? А дело в том, что «мы» добры, иногда даже чрезмерно, только к тем, кого числим в ближнем кругу, — а это семья, друзья, компания, иногда коллеги по работе, и то выборочно, т. е. ниша непосредственной межличностной коммуникации. А за пределами этого круга — потенциальные недоброжелатели или враги. Проще всего объяснить эту



установку на примере «гаишника» и водителя. Каждый «гаишник» видит в водителе потенциального нарушителя ПДД, а каждый водитель в «гаишнике» — потенциального вымогателя. Почти каждый российский покупатель уверен в том, что продавец постарается ему всучить недоброкачественный товар, а каждый российский продавец — в том, что все покупатели — хамы и недоумки, которые сами не знают, чего им надо. Это универсальная российская полярность, которая является неосознаваемым препятствием принципа толерантности.

Наиболее наглядно это проявляется, конечно, в отношении к «чужакам» иного этнического происхождения и вероисповедания. Эта проблема ставилась нами в нескольких исследованиях, поддержанных грантами РГНФ во второй половине девяностых годов и в начале «нулевых». Эмпирические данные обобщены в публикациях «Петербуржцы 1995: стереотипы сознания и поведения», «Петербуржцы 1997: символы, ценности и установки» и «Петербуржцы 2004», изданных на средства грантов издательством СПбГУ (авторы З.В. Сикевич, О.К. Крокинская и Ю.А. Поссель; научная редакция З.В. Сикевич)

Третья проблема, о ней я уже говорила в связи со своими публикациями, это *стандарты и стереотипы «социального бессознательного»*.

Особенностью нашего подхода, я имею в виду кроме себя и ведущих сотрудников лаборатории, является:

- комплексность и междисциплинарность (все, что нами исследуется, изучается как с точки зрения социологии, так и социальной психологии);
- опора на авторские методики, в числе которых стандартный опросный лист с закрытыми и полужакрытыми вопросами занимает далеко не главное место;
- сочетание количественного и качественного инструментария.

Об этом подробно можно почитать в моей монографии «Социологическое исследование. Практическое руководство» (СПб.: Питер, 2006), туда же включены и некоторые апробированные нами методики.

Лично я, наряду со стандартными методиками, предпочитаю метод свободных ассоциаций с последующим контент-анализом вербальных конструктов, который дает для последующих выводов значительно больше материала, чем традиционный вопрос-меню, шкала или ранжирование. В этом я убедилась на основании своего длительного опыта; первое самостоятельное исследование в лаборатории В.Т. Лисовского я провела в 1974 г. Нетрудно подсчитать, что это уже несколько десятков лет.

— *Вы заведуете лабораторией этнической социологии и психологии НИИ комплексных социальных исследований (НИИКСИ) СПбГУ и являе-*

*тесь профессором кафедры культурной антропологии и этнической социологии СПбГУ. Что для вас важнее: исследовательская или преподавательская деятельность?*

— Ответ на этот вопрос фактически вытекает из предыдущего. Уже сорок лет с лишним я работаю в «поле», и каждый раз при составлении инструментария, обработке данных и особенно последующем их анализе я испытываю настоящий творческий азарт, который, конечно, трудно сравнить с тем, что дает мне преподавательская деятельность.

Правда, с течением времени (а преподаю я около 15 лет) я научилась получать удовольствие и от нее. Наверно, мои лекции не вполне традиционны в том смысле, что они не являются последовательным изложением каких-то теорий или школ. В этом я полагаюсь на свой учебник, который доступен каждому студенту, и его самостоятельную работу, а саму лекцию я стараюсь превратить в творческий процесс размышлений вслух относительно темы занятий, процесс ассоциативный и максимально открытый для дискуссии, которая мною поощряется.

— *Вы активно ведете научные исследования, получали гранты, в частности гранты РФФИ. Можно сказать, что вы успешный исследователь, имеющий достаточный научный авторитет. Какова, на ваш взгляд, ситуация в социальных науках в современной России с точки зрения возможностей работать, осуществлять новые идеи и проекты, публиковать свои труды?*

— Очевидно то, что ситуация в целом плачевная. Что касается исследований, то, если не удастся получить грант, приходится, образно говоря, «сосать лапу». Остается рассчитывать на коммерческие предложения, а их не так много, как хотелось бы, особенно если речь идет о той серьезной гуманитарной проблематике, которой заниматься не только интересно, но и продуктивно для развития науки.

Если в первые годы российских реформ за иностранные гранты можно было еще побороться и конкуренция заявок была более или менее открытой и честной (об этом говорят, в частности, гранты Фонда Сороса и Фонда Мак-Артуров, которые я выиграла в середине 1990-х гг.), то к концу девяностых все сменилось привычным для России «междусобойчиком». Большинство средств на исследования оседает в Москве или раздается тем, кто готов к «благодарности» в денежном выражении.

Что же касается прямых бюджетных ассигнований на федеральные программы, то и здесь не обойтись без «родного человека», который готов порадовать за тебя. Со времен Грибоедова в государстве российском мало что изменилось. Кстати, именно поэтому в таком бедственном положении находится НИИКСИ, исследовательский потенциал которого используется самое большее на четверть.

С публикациями ситуация схожая. Если еще учебное пособие можно напечатать в одном из издательств, которые занимаются тиражированием учебной литературы, то научные монографии по результатам эмпирических исследований издавать приходится либо на собственные деньги в надежде на то, что их хотя бы частично можно будет вернуть после реализации, либо искать заинтересованного спонсора.

Сегодня гуманитарные науки оказались даже в худшем положении, чем это было в советское время. Тогда, конечно, был идеологический диктат, но зато на бюджетные деньги можно было развернуть всесоюзные опросы с оплатой командировки на другой конец Союза (помню, в конце семидесятых я отправилась опрашивать во Владивосток), сегодня все внимание, приоритеты — инновациям в области естественных и технических наук. Эффективность гуманитарных исследований не очевидна, потому что не несет сиюминутной выгоды, а проявится только в долгосрочной исторической перспективе, но это распорядители бюджетных средств редко способны понять. Вот и создали РГНФ для мелких «подачек» отдельным научным коллективам, причем размер ежегодных субсидий редко превышает сумму в 300–350 тысяч рублей, а с этой суммы надо уплатить еще налоги, а оставшееся «размазать» на зарплату, оборудование, опрос, обработку и т. д. Комментарии по поводу размера этой суммы, по-моему, излишни.

— *Насколько велика конкуренция между социологическими учреждениями в поле научных исследований за ресурсы, в частности, на рынке научных заказов? Получает ли ваша лаборатория необходимые условия и ресурсы для активной научной работы?*

— Конкуренция, конечно, немалая. Но это естественно и справедливо. Неестественно и несправедливо то, и я об этом уже говорила, что большая часть заказов оседает в Москве и не потому, что там лучшие научные кадры, а потому, что они приближены к власти, которая эти средства распределяет. Даже если говорить об экспертах российских фондов, которые, собственно, и решают, кому дать деньги, а кому в них отказать, то это тоже по преимуществу москвичи.

Финансирование не только гуманитарных исследований, но и любых иных научных проектов сосредоточено в столице, поэтому московские центры имеют своего рода «фору». Так было, кстати, и в советское время. Не случайно ведущие ленинградские социологи — Ядов, Здравомыслов, Кон, многие другие, всех не перечислить, переехали в свое время в Москву, где получили значительно больше возможностей для реализации своих профессиональных идей.

— *Как вам видится развитие лаборатории этнической социологии и психологии (НИИКСИ) СПбГУ?*

— Развитие лаборатории целиком и полностью зависит от судьбы НИИКСИ и в целом финансирования университетских НИИ. Сегодня они финансируются по «остаточному принципу», поэтому ни я, ни другие заведующие лабораториями не имеют возможности привлекать к работе молодежь, — бесплатно или почти бесплатно никто работать не будет. В моей лаборатории все, включая меня, работают по совместительству, в общем-то, на энтузиазме, потому что те 4–5 тысяч рублей, которые получают научные сотрудники с докторской и кандидатскими степенями, можно назвать разве что пособием по безработице. Те, кто работает на полную ставку в других лабораториях, — пенсионеры, и зарплата, получаемая в НИИКСИ, для них просто добавка к пенсии.

— *Насколько, на ваш взгляд, различны и самостоятельны этнология, этническая социология, культурная и социальная антропология? В чем смысл их раздельного развития в современной науке?*

— Сразу оговорюсь — относительно социальной и культурной антропологии лучше обратиться к моим коллегам — антропологам, прежде всего, потому, что предмет этих дисциплин, насколько мне известно, до сих пор дискутируется.

На мой взгляд, культурная антропология ближе всего соотносится с социологией культуры, т. к. изучает главным образом как общие, так и специфические культурные феномены в современном обществе. Может быть, различие состоит только в том, что антропологи рассматривают те же самые культурные явления в динамике как отражение норм и образцов, которым следовали в традиционном обществе.

И социальная, и культурная антропология, а это по сути одно и то же, являются, как мне представляется, частью социологии на уровне специальных социологических теорий. Однако это мое личное мнение, с которым, возможно, сами антропологи и не согласятся.

Предмет этнологии содержится в ее названии — это наука об этносах, прежде всего, традиционных. Думается, она близка к этнографии, различие лишь в том, что этнография занимается описанием обычаев, ритуалов, обрядов конкретной этнической группы, в то время как этнология — некими общими тенденциями и закономерностями, по которым функционируют этнические группы. Однако, повторяюсь, я социолог, и поэтому не слишком хорошо ориентируюсь в предмете этих дисциплин.

Предметом этнической социологии является *влияние этнического фактора на состояние и динамику социальных институтов и социальных отношений*. Она зародилась на пересечении общей социологии и этнологии в период модернизации традиционного общества, когда судить об этносе в целом стало некорректно в силу процесса урбанизации, усиле-

ния миграционной активности, изменения соотношения аскриптивных и дескриптивных статусов, наконец, явлений, связанных с социальной аномией, которые блестяще классифицировал Эмиль Дюркгейм.

Первым этносоциологическим исследованием, кстати, хорошо известным любому социологу, стало изучение Ф. Знанецким тех социальных и ментальных изменений, которые произошли с поляками, переселившимися в Америку (1918—1919). Речь шла по сути о социокультурных последствиях миграции, и сегодня эта проблематика остается одной из центральных в предметной области этнической социологии. Знанецкий сопоставлял жизнь польских крестьян на родине, в Польше, с одной стороны, и за океаном, — с другой, так что это исследование было к тому же и первым сравнительным социологическим исследованием.

Сравнительные этносоциологические исследования до сих пор остаются наиболее продуктивными для выявления особенностей функционирования этнической группы в условиях социальной «разделенности». Так, например, под моим руководством проводились исследования, где сравнивалась этническая идентичность русских в Петербурге и в Ленинградской области, с одной стороны, и русских в Крыму, в Литве и во Франции, с другой, евреев в России и в Израиле, туркмен в Петербурге и в Туркменистане. Идентичность меньшинств всегда коренным образом отличается от этнической идентичности национального большинства и титульного народа.

Сегодня в предмете этнической социологии обнаруживается три основных направления.

- Первое исследует *этнокультурную обусловленность установок и социального поведения в условиях модернизации и постмодерна*. Это направление пересекается с культурной антропологией и было центральным в советской этносоциологии. Наиболее интересные исследования касались социокультурных последствий двуязычия и этногетерогенных браков. Результаты этих исследований обсуждаются мною, в частности, на страницах учебного пособия «Социология и психология национальных отношений» (СПб., 1999).
- Второе, собственно социологическое, изучает влияние этнического фактора на общие и частные социальные процессы, в том числе урбанизацию, миграцию, мобильность, конфликтность. Здесь лучше других исследовано поле этнического конфликта, его мотивации, динамики, последствия и основных акторов. Проблема этнических конфликтов составляет основное содержание курса «этнополитологии», который я читаю на нашем факультете.
- Третье направление пересекается с этнической психологией. В его рамках исследуется этническая идентичность, ее когнитивная,

эмоциональная и поведенческая составляющие; этнические предубеждения и, в частности, этнические стереотипы; язык как базовая символическая среда функционирования этничности; неинституциональные нормы этнической группы. Различие подходов социолога и психолога состоит в основном в расстановке акцентов: если социолог фокусирует свое внимание на социальной обусловленности названных явлений, причем на групповом уровне, то психолог изучает этническое в соотношении с психическим и, главным образом, на индивидуально-личностном уровне. Эта проблематика «пересечения» рассмотрена мною в учебном пособии «Социальная психология этнических отношений», лежащем в основе курса, который я читаю психологам в РГПУ им. А.И. Герцена.

— *Как бы вы охарактеризовали исследовательскую ситуацию в социологии и социальной антропологии в России и за рубежом?*

— Ограничусь для краткости рассмотрением только непосредственной сферы своих научных интересов.

Научной дисциплины с названием «этническая социология» за рубежом просто не существует, ту же предметную область исследует «социология расы» и в какой-то мере «культурная антропология». В определенной степени это обусловлено сменой стратегии и идеологических приоритетов. Несмотря на то, что понятие «этничность» изобрели не российские, а западные социологи, сегодня от этого термина за рубежом фактически отказались, заменив его аморфным «культура». Не секрет, что культура — это одно из наиболее дискутируемых понятий, имеющее десятки определений, в отличие, кстати, от этничности, чье феноменологическое содержание отличается большей ясностью и четкостью. Почему же сегодня вместо «межэтнической коммуникации» или «межэтнических отношений» все чаще в переводных работах мы встречаем «межкультурную коммуникацию» и «межкультурные отношения»?

Уверена, что это обусловлено исключительно ложно понимаемой политкорректностью и толерантностью, а также идеологией мультикультурализма, от которой постепенно приходится отказываться под напором социальной реальности. Достаточно вспомнить недавнее выступление немецкого канцлера Ангелы Меркель, в котором она впервые призналась в том, что германская политика параллельного развития культур в социальной практике дает сбой.

Дело в том, что если бы один народ отличался от другого исключительно культурой, в чем пытаются нас убедить политики и большинство западных ученых, мы давно жили бы в условиях полного этнического благоденствия (читай — культурного глобализма) и взаимной симпатии. Между тем, этого не происходит. Свидетельством тому этнические конф-

ликты, которые множатся в геометрической прогрессии. И если раньше эти противоречия пытались списать на кризис тоталитарного общества, утверждая, что конфликты возможны исключительно в условиях идеологического давления и нестабильности, то сегодня от такой примитивной логики приходится отказываться.

Разве нестабильно и недостаточно демократично бельгийское общество, которое уже подошло к черте распада на валлонскую и фламандскую части? Разве дело в том, что одни говорят по-французски, а другие — на диалекте голландского языка, а в валлонском регионе преобладают католики в отличие от фламандских протестантов? Так ли уж отличается культура басков от культуры кастильцев или андалузцев? Почему корсиканские депутаты вот уже не одно десятилетие безуспешно добиваются внесения изменений в конституцию Франции относительно термина «французская нация»? Им важно, чтобы было указано на то, что французская нация (имеется в виду нация как согражданство) состоит из французов и корсиканцев. И если этносоциальная дистанция между теми же французами и гражданами Франции арабского происхождения или между немцами и гражданами ФРГ турецкого происхождения во многом, хотя и не во всем, действительно подкрепляется культурными различиями, то это никак нельзя сказать про положение коренных меньшинств, которые, тем не менее, добиваются закрепления их права на этническую, именно этническую, а не культурную, идентичность.

Я специально не ссылаюсь на пример распада СССР или Югославии, где принято все списывать на экономические противоречия, несостоятельность национальной политики на фоне кризиса власти. Очевидно, что распад этих союзных государств лишь на первом этапе был связан с культурным мотивом этнической мобилизации, который вскоре сменился совершенно иными, политическими целями и задачами, стремлением к сецессии.

Таким образом, те из наших зарубежных коллег, кто фактически отказался от собственного термина «этничность», сами попали в непростое положение, потому что переименовать «этнический конфликт» в «культурный» не решаются даже они. Надо сказать, что в отличие от социологов этнопсихологии занимают более здравые позиции, разделяя «этническое» и «культурное», во многом это связано с идеями классической немецкой психологии и, в частности, К.Г. Юнга, позиции последователей которых за рубежом достаточно крепки.

Если же говорить о собственных предпочтениях, то мне лично ближе всего положения символического интеракционизма и теории конфликтов Р. Дарендорфа. Последняя для этнической социологии — своего рода общая социологическая теория.

— *Существуют ли в России самостоятельные научные школы в этнологии, этносоциологии и социальной антропологии? Если да, то, что они собой представляют?*

— Этническая социология в нашей стране — одна из наиболее «молодых» областей научного знания. Первое этносоциологическое исследование было проведено на рубеже шестидесятых и семидесятых годов XX в. сектором социологических исследований Института этнографии АН СССР под руководством Ю. Арутюняна и Л. Дробижевой. Исследование носило эмпирический характер и было посвящено «оптимизации социально-культурных условий развития и сближения наций в СССР». Такое название исследования, как мне кажется, говорит само за себя.

Этническая социология в то время носила исключительно прикладной характер, а в своих теоретических построениях исходила из исторического материализма и «ленинской национальной политики». Определенное влияние на взгляды этносоциологов имела теория этноса Ю. Бромлея, главы советской этнографической школы. Положение в психологии было несколько лучше, т. к. еще в 1927 г. Георгий Шпет, заведующий кафедрой социальной и этнической психологии МГУ, изложил собственную теорию в книге «Введение в этническую психологию». Впоследствии он сгинул на Соловках, как и многие другие русские ученые-гуманитарии того времени.

Вернемся в наши дни. Представляется, что самостоятельных школ в российской этносоциологии сегодня нет, а социологи, занимающиеся проблемами национальных отношений, чаще всего расписываются в верности одному из ведущих подходов в зарубежной науке или пытаются интегрировать существующие теории применительно к российской действительности. Большинство зарубежных исследователей склоняется к идее о том, что этнические чувства используются в качестве символического капитала при достижении каких-то «внеэтнических» социальных целей, а этничность есть ситуативный выбор людей, которые в иных обстоятельствах будут избирать иные групповые сообщества для достижения власти и привилегий (инструментализм). Конструктивисты, более других повлиявшие на смену теоретических позиций, вообще не рассматривают этничность как целостный феномен, разлагая его на культуры, языки, экономические и политические структуры. С их точки зрения, этничность множественна, изменчива и ситуативна, она «провоцируется извне» и никогда не является добровольным «выбором индивида».

Более традиционный подход, который в последние годы подвергается остракизму в зарубежной науке, а вслед за нею и в России, примордиализм, исходит из того, что этничность есть объективная реальность,



характеризующаяся определенными устойчивыми признаками, а именно территорией, языком, экономикой, религией, мировоззрением и даже общим психическим складом. Социобиологическое направление идет еще дальше, утверждая, что «осознание групповой принадлежности заложено в генетическом коде» (Р. Шоу).

Ведущий российский этносоциолог Л.М. Дробижева и ваша собеседница придерживаются интегративного подхода: при анализе и интерпретации этнических явлений исходят из совмещения описанных мною теоретических позиций для каждой конкретной ситуации. Конечно, можно убедить себя в том, что этничность — не более чем конструкт или простой инструмент в овладении «реальным или символическим капиталом», но сама социальная реальность и эмпирические факты, обнаруживаемые в ходе наших исследований, никак не укладываются в прокрустово ложе постмодернистских конструкций. Действительно, почему советский конструкт не выдержал напора «примордиальных сил», если в течение семидесяти лет целенаправленно и жестко формировалась именно «советскость», а не русская, грузинская или таджикская идентичность? Почему не состоялась югославская идентичность, которую пытался утвердить в сознании сербов, хорватов, македонцев, других народов СФРЮ харизматичный И.Б. Тито?

Хотелось бы прибегнуть к мнению авторитетного американского социолога Нейла Смелзера: «Западная социология была введена в заблуждение в том, будто рост целенаправленных, рациональных организаций означает общее ослабление примордиальных сил; эти исконные силы сегодня заявляют о себе в региональном и этническом сознании...». И далее: «эти события требуют, чтобы социологи переосмыслили прежние теории социальных перемен и обратили на примордиальные структуры достойное внимание, какового они всегда заслуживали, но которое им не всегда уделялось».

— *Каково ваше нынешнее восприятие атмосферы 1960–80-х гг. в Советском Союзе? Каково ваше отношение к периоду перестройки и времени реформ 1990-х гг.? Что это был за период для вас лично, насколько он значим в вашей профессиональной деятельности?*

— В шестидесятые — восьмидесятые годы прошло мое становление как социолога и исследователя. Этот период профессиональной жизни был тесно связан с НИИКСИ, лабораторией социологических проблем молодежи, с В.Т. Лисовским, который в те годы сумел в своем коллективе создать атмосферу свободы и права на собственное мнение.

Вообще НИИКСИ, а тогда мы располагались вольготно, занимая все залы Дворца Бобринского на Красной улице, отличался по тому времени невероятным свободомыслием. В курилке на центральной лестнице

Института мы обменивались новыми политическими анекдотами, по рукам ходили самиздатовские издания, причем все знали, кто их распространяет и кто распечатывает.

Позже, когда я рассказывала об атмосфере в нашем Институте, мне, по-моему, никто не верил. Конечно, исследования нам «заказывали», и определенные «экивоки» в сторону идеологии делать приходилось, но и в то время удавалось выявлять многие жизненные коллизии, не поступаясь социологической истиной.

С начала перестройки, а реально перемены стали чувствоваться где-то примерно с конца 1987 г., для меня и многих моих друзей наступила в прямом смысле эйфория, опьянение невиданной до сих пор свободой. По ТВ передавались в прямой трансляции съезды народных депутатов с блестящими выступлениями А. Сахарова, А. Собчака, Ю. Афанасьева, других отцов и глашатаев перемен. На глазах у телезрителей разворачивалась истинная политическая борьба, которая воспринималась чуть ли не как откровение свыше. Какая уж тут работа, я и мои коллеги сидели, прилепившись к экранам, читали с утра по десятку газет, а вечером погружались в чтение книг, еще недавно передававшихся в бледных распечатках из рук в руки. Таких рейтингов, какие тогда были у «600 секунд» или «Пятого колеса», сегодня не имеет ни одна передача, ни один сериал. Но рейтингов тогда никто не измерял, это было другое время. Время динамичной, напряженной политизации, во всяком случае моего круга социологов, — погружение в динамичную социальную повседневность как-то сразу отложило «на потом» академические споры и даже исследования.

Я лично не пропускала почти ни одной акции Народного Фронта, почему-то особенно запомнился митинг в защиту Гдляна и Иванова: Дворцовая была забита под завязку, и совершенно разные по возрасту и по социальному положению люди были готовы чуть ли не насмерть стоять за честных следователей, выступивших против партийной номенклатуры.

Вообще политизация широких слоев населения, конечно же, в первую очередь в крупных городах, была невероятной, особенно если исходить из реалий сегодняшнего дня. На митинги, а они проводились в тот период почти каждое воскресенье на Дворцовой или у Казанского, ходили семьями, с детьми. На эти «народные собрания» приходили даже молодые мамы с колясками. Тут же раздавали какие-то брошюры, плакаты, которые мгновенно, как горячие пирожки, расхватывались. Чуть ли не до драк доходило, когда доставалось не всем желающим. Атмосфера была праздничная, и горло все драли с удовольствием. На тех митингах впервые появились трехцветные флаги как символ выбора пе-

ремен. А когда трехцветный флаг стал государственным, многие, в том числе и я, специально ходили смотреть, как над бывшими райкомами, над Эрмитажем поднимают эти символы свободы и надежды. Именно так это тогда воспринималось.

Митинги стали любимым занятием на досуге, своего рода «тусовкой» не знакомых друг другу активных людей самого разного возраста. На митингах знакомились, влюблялись и ссорились — это была особая среда самовыражения, в чем-то наивного, но чрезвычайно значимого в те годы. Если использовать научный термин, то наиболее сильной групповой самоидентификацией тогда было как раз участие в такого рода общественных акциях «за» и «против», которое отличалось абсолютно черно-белым мировосприятием. «Ты за демократов или за коммунистов?» — другие деления не учитывались.

Все эти акции словно освящал своим присутствием академик Лихачев, удивительно помолодевший в те годы. И если в Москве символом нового времени стал Сахаров, то в нашем городе это был Дмитрий Сергеевич.

Мыслимо ли сейчас, чтобы общественность выступила в защиту честных работников прокуратуры, борющихся, например, с организованной преступностью и подвергающихся травле? Об этом даже смешно подумать. В тот период, на мой взгляд, примерно с конца 1987 по 1993 г. в России действительно существовало гражданское общество, открытое переменам и готовое за эти перемены постоять.

В августе 1991 г. сторонники перемен собрались у Мариинского дворца, чтобы «защитить демократию». С позиций сегодняшнего дня это звучит почти комично. Действительно, что могли сделать такие, как я, а немолодых там было поровну с молодыми, если бы действительно на нас двинули танки? Но об этом никто не думал, все ждали Собчака, который должен был вернуться из Москвы. Помню Андрея Петрова, который раздавал людям какие-то бутерброды — он жил недалеко, и для него было естественно тоже выйти на площадь со своей малой лептой. В толпе мелькали лица известных актеров, писателей. Не быть в те дни у Мариинского, во всяком случае, в моем кругу было почти неприлично и воспринималось как предательство и трусость. Наверно, потому что в те дни на площади стояли граждане, а не просто мужчины и женщины, молодые и старые.

Я часто думаю о том, куда же подевались ростки этого гражданского самосознания, которое бесспорно существовало в годы перестройки? Скорее всего, их уничтожила практика демократии «по-русски», которая очень быстро вылилась в недопустимое социальное расслоение, когда как раз энтузиасты перемен и завсегдатаи митингов оказались без

гроша в кармане, в состоянии еще более униженном, чем при советской власти. Почему — более? Потому что бедность проявляется только в сравнении, а при советской власти, в общем, все жили довольно скромно, а слой партийно-советской элиты, уровень жизни и потребления которой был, конечно, заметно выше, старались, что было весьма умно с их стороны, не мозолить глаза своими распределителями и спецобслуживанием. Для «новых русских», напротив, демонстрационность — «кто круче», стала главной установкой поведения, и эту «крутизну» с готовностью растиражировали средства массовой информации — в первую очередь телевидение и глянцево-журналы.

Ростки гражданского общества, на мой взгляд, извела и непродуманная приватизация, но особенно ее последствия, когда «хозяевами» жизни стали не самые достойные и талантливые, и даже не самые предприимчивые, а самые наглые и вороватые. Причин деградации общества еще немало, но об этом стоит поговорить отдельно, а здесь хочу добавить лишь одно: по большому счету, сегодня в России гражданское общество не нужно никому — ни власти, на даже оппозиции, чтобы там ни декларировалось. Потому что управлять и манипулировать «населением» значительно проще, чем гражданами, с которыми приходится считаться.

Почти весь октябрь лихорадило Францию в связи с предполагаемым повышением пенсионного возраста. На демонстрациях было полно студентов и даже школьников, что дало повод для зубоскальства нашим комментаторам. Французы, в общем-то, мало чего добились, но на следующих выборах у них будет другой президент. Потому что, в отличие от нас, они — граждане. А мы, к сожалению, в своем гражданском прошлом разочаровались в погоне за лишним рублем, чтобы «соответствовать» тем образам успешности, которые тиражируются в наши дни.

Если говорить о моих исследованиях тех лет, то это, прежде всего, включенное наблюдение, интервьюирование, скорее на энтузиазме, чем в стремлении заработать деньги, потому что система грантов еще не сложилась, старые спонсоры исчезли, а новые еще не появились. Так что это было время скорее не науки, а «живой социологии», которую творили не-социологи.

У меня сохранилось много материалов тех лет — разного рода прокламации, листовки, газеты — однодневки всего политического спектра от «красного» — до «черного», письма читателей, которые постоянно печатались в тогдашнем «Огоньке» Коротича, в «Московских новостях», программы Народных фронтов, какие-то собственные заметки. Это «образ времени», таким, как он мне запомнился. Я уже давно собираюсь написать книгу по этим материалам, но как-то все руки не доходят. Но

книга обязательно будет, может, к 20-летию распада СССР, который и ознаменовал конец перестройки, от этого замысла я не откажусь. Найти бы еще издателя.

— *Как вы думаете, насколько изменилось положение в социологии в России в период с 1990-х по 2010 гг.?*

— Если иметь в виду теорию, то сильнее становится влияние современных зарубежных течений и школ. Это неплохо, если не превращается в бездумное копирование чужих позиций, без попытки их хотя бы модифицировать, приспособить к социальной реальности России.

Я ни в коем случае не являюсь глашатаем идей «особого пути» России и прилагающихся к этому кредо идеологем. Специфика России состоит не в особом культурно-историческом развитии и пресловутой «загадке русской души», а в том, что Россия, обладая огромной территорией, имеет низкую плотность населения, особенно за Уралом. Это первое, что существенным образом обуславливает социальную и культурную динамику.

Второе — огромный разрыв между мировосприятием и социальным поведением жителей городов — «миллионников», с одной стороны, и провинциальной Россией, — с другой. Это различие, кстати, существовало всегда, и Н. Бердяев в одной из своих ранних статей говорит о глубокой пропасти в образе жизни между столицами и русской провинцией.

Мы, в первую очередь, петербуржцы и москвичи, вообще плохо себе представляем, какова Россия районных городов и поселков городского типа, не говоря уже о селе. Я имею в виду даже не качество жизни, а состояние умов. Недавно мне пришлось на пару дней съездить в один из отдаленных районных центров Ленинградской области. Центральную площадь имени Ленина, естественно, украшает гипсовый Ильич, городские власти сидят в бывшем райкоме КПСС, главой города является сын бывшего первого секретаря, а две центральных улицы носят имена Клары Цеткин и Урицкого. В таком окружении трехцветный флаг современной России над фронтоном здания мэрии выглядит настолько же чужеродно, насколько бы красный флаг выглядел там же столетие назад. Дело даже не во внешней атрибутике, хотя и она, что прекрасно знают психологи, влияет на менталитет людей, но в той общественной пассивности, атмосфере тревожности по поводу своего будущего, всеобщей ностальгии о скромной сытости советских времен.

На первый взгляд, какое это имеет отношение к вашему вопросу? Прямое. Конструктивистские теории в русской глубинке буксуют, по большей части мы имеем дело либо с советскими людьми, у которых просто сменился паспорт, но не сознание, либо с циничными прагмати-

ками, которые ради заработка способны почти на все. Конечно, есть и другие, реальные проводники перемен, но их единицы. К тому же именно они воспринимаются ближней социальной средой как маргиналы, «чужаки». У меня в связи с этим складывается определенное сомнение в репрезентативности всероссийских опросов, насколько в этих выборках представлена вот эта российская глубинка, живущая на улице Клары Цеткин.

Третьей особенностью российского общества, отличающей его от западных обществ, является его полиэтничность, выразившаяся в федеративном характере российского государства. Я хочу специально подчеркнуть, что речь идет именно о полиэтничности, а не культурном разнообразии, потому что если иметь в виду систему ценностей, то она еще сохраняет, особенно для старших возрастных групп, свое советское содержание. И, скажем, патерналистские и эгалитаристские ориентации отличают не только русских, но, к примеру, и татар, чувашей или осетин.

Роль религии как «ядра» этнической культуры, на мой взгляд, преувеличена, а следование религиозным канонам далеко не всегда означает истинную веру, а не простую дань утвердившейся институциональной норме социального поведения. Сейчас принято быть верующим, и бывшие коммунисты охотно перевоплощаются в ревностных христиан или мусульман. Полиэтничность как система этнических идентичностей влияет на российскую специфику еще и потому, что наши меньшинства — не из числа мигрантов, как в странах ЕС, а коренные, жившие на просторах России уже в далекие исторические времена. Но это — тема отдельного разговора.

На мой взгляд, репрезентативные выборки России, вслед за современными западными веяниями, не в полной мере учитывают этнический фактор, исходят из формальных критериев — региона, традиционной религии. Между тем необходимо учитывать и время, и обстоятельства вхождения данной территории в состав российского государства, восприятие ближайших соседей, исторически сложившиеся «образы» друзей и врагов, степень модернизации традиционной культуры и т. п. Т.е., к примеру, в выборке должны быть представлена, к примеру, и Осетия и Ингушетия. Причем вовсе не потому, что осетины — православные христиане, а ингуши — мусульмане, а потому, что Осетия вошла в состав России добровольно, а Ингушетия была присоединена насильственно в ходе первой Кавказской войны, и эти факты существенным образом обуславливают и этническую идентичность, и отношение к русским.

И, наконец, четвертый фактор, влияющий на российскую специфику, — это ситуация социальной трансформации, которая продолжается

и происходит на фоне усугубляющегося культурного конфликта. Об этом я уже говорила ранее.

Именно поэтому, на мой взгляд, российские социологи должны подойти к теоретическому осмыслению социальных фактов последних тридцати лет, не ограничивая свое научное творчество академическими конструкциями, заданными зарубежной социологией. По той же причине, как представляется, при использовании зарубежного инструментария необходима его модификация применительно к российской специфике. Тем более что ничего невероятного и крамольного в этом нет, наши коллеги-психологи модифицируют даже тесты, имея в виду особенности русской «картины мира».

— *Как вы оцениваете уровень современного социологического и антропологического образования за рубежом и в России?*

— Насчет антропологического образования лучше поинтересоваться у антропологов, что же касается социологического, то оно, к сожалению, полной удовлетворенности у меня не вызывает. Почему? Главных причины, по-моему, две:

1. Перекос учебных программ в пользу теории за счет формирования исследовательских навыков. Студентам необходимы знания не только методологии и методов эмпирического исследования, но и технологии, процедур, приемов исследования, самого процесса организации и проведения его. В ходе интегративного курса они должны, желательно под руководством одного человека, научиться самостоятельно проводить исследование — от А до Я, т. е. от составления программы, разработки инструментария до выхода в поле, математической обработки данных и написания аналитических записок по своим результатам. Их можно разбить на небольшие группы по 3—4 человека, которые и проводили бы это исследование, скажем, в течение семестра, а лучше целого учебного года. Уверена, если бы мы поинтересовались мнением студентов, они обеими руками проголосовали бы за такой курс. Как вы понимаете, я ничего не имею против теории, более того, уверена в том, что знание ее студенту необходимо. Но вместе с тем надо исходить из реального положения дел: от подавляющего большинства наших выпускников, если они вообще устроятся по специальности, работодатель будет ожидать умений и навыков прикладника, а не знание высоких теорий. Как мне кажется, как раз магистерские программы при современной двухуровневой модели высшего образования должны быть наполнены преимущественно практическим содержанием, а не дублирующими бакалаврский уровень курсами просто с другим названием. Если говорить о нашем факультете, то я никак не могу понять, почему так мало используется опыт сотрудников НИИКСИ, которые могли бы в ходе

практических занятий как раз и передать новому поколению социологов свой многолетний опыт.

2. Вторая причина относится к образованию лишь косвенно. Социолог, я в этом глубоко убеждена, — профессия творческая. Социолог — своего рода коммуникатор, посредник между социальной средой и людьми, эту среду заселяющими. Но творческое самовыражение социолога состоит и в постоянном поиске новых средств и способов этой межличностной коммуникации с респондентом. Причем это относится не только к качественным исследованиям, «классический» опросный лист тоже может стать актом творческого взаимодействия с участником опроса, не говоря уже о фокус-группах и подобных методах. Я не уверена, что мы этому студентов учим. В своей педагогической практике я неоднократно сталкивалась с тем, что мои ученики боятся «поля», и по возможности пользуются чужими, уже разработанными методиками. Еще хуже обстоит дело с анализом данных, в особенности количественных. Не побоюсь сказать, что добрая половина студентов смотрит на корреляционную таблицу как «баран на новые ворота», а о кластерном анализе они если и слышали, то сами построить плеяды не могут. Глубоко убеждена в том, что если наш выпускник, превосходно ориентируясь во взглядах Сорокина, Дюркгейма или Гарфинкеля, не способен, к примеру, «прочитать» двухмерную таблицу или построить контент-аналитическую матрицу для группировки ответов на открытые вопросы, он — не социолог, чтобы там ни было написано в его дипломе.

— *Как вы думаете, способствуют ли академические разработки этнических и антропологических вопросов решению проблем национальных отношений, межэтнических связей в России в настоящее время?*

— Сразу скажу — нет, что бы ни утверждали мои коллеги в России и за рубежом.

Я лично не знаю ни одного этнического конфликта, который был бы разрешен, хотя на отдельных этапах его развития и социологи, и психологи, и конфликтологи искали пути компромисса и давали свои рекомендации. На мой взгляд, сегодня ни в одном из известных конфликтов не найден компромисс, который бы устраивал обе противоборствующих стороны. Конечно, уже то, что они «заморожены», хорошо, хотя бы потому, что матери больше не получают похоронок. Но не разрешен даже всеми забытый карабахский конфликт, хотя именно по нему в свое время Г.В. Старовойтова, по специальности этнопсихолог, что не все знают, подала лично Горбачеву несколько разумных и реализуемых, научно обоснованных предложений. А воз, как говорится, и ныне там.

Азербайджан никогда не смирится с потерей Карабаха, так же как Сербия — с потерей Косово. И совершенно не важно то, что обе этих



территории ни по своим природным, ни по экономическим ресурсам ничего ценного собой не представляют, потому что в этнических вопросах аргумент практической выгоды или целесообразности не работает, и над простыми людьми, и над элитами довлеют аффекты, исторические обиды, примордиальные ценности, никак не связанные, к слову сказать, с культурой.

В условиях этнической мобилизации людей обуревают инстинкты, а не здравые соображения, голос «крови» подавляет голос «рассудка». Большая часть этнической группы по своему поведению на время превращается в плохо контролируемую даже собственными «вождями» толпу, где начинают действовать законы взаимного подражания и заражения, когда моральные запреты отдельного человека растворяются в групповых мифологемах и ожиданиях. Это — о конфликтах, здесь я скептик.

Что же касается различного рода программ национальной политики, то и здесь не все так просто, как кажется. Советская национальная политика, несмотря на весь идеологический антураж, содержала в себе немало разумного, и «дружба народов» существовала не только на бумаге, как утверждают сегодня некоторые политологи, держащие «нос по ветру». Но, тем не менее, СССР уже почти двадцать лет назад канул в лету вместе с ленинской национальной политикой. Идеи мультикультурализма казались научно обоснованными и практически реализуемыми, но в колыбели мультикультурализма — Канаде немалая часть франкоговорящих канадцев только и думает, как бы им избавиться от англоговорящих сограждан, в Бельгии фламандцы косо смотрят на валлонов, а части сверхтолерантных французов не по душе соседство с румынскими цыганами.

Конечно, все это не освобождает нас, этносоциологов и этнопсихологов, от поиска каких-то новых продуктивных идей в области межнационального взаимодействия. К сожалению, в России власть по недоброй традиции слабо прислушивается к мнению специалистов по конкретным этническим проблемам. Примечательно, что первый министр новой России по делам национальностей (не уверена в точном названии Министерства), авторитетный этнолог профессор В.А. Тишков через полгода был заменен на этой должности «за строптивость» бывшим секретарем Ставропольского крайкома партии. Комментарии, думается, излишни.

— *Вы изучали проблему национального самосознания русских. Можно ли утверждать, что оно есть? Каковы его черты?*

— На ваш вопрос отвечу встречным: а у французов, немцев или испанцев национальное самосознание есть? Почему бы ему не быть и у русских?

Но сначала разберемся с категориями «этническое» и «национальное». Дело в том, что многие социологи и чуть ли не поголовно все политологи используют эти термины как взаимозаменяемые, синонимичные. Между тем это далеко не так. Если говорить об этническом самосознании (а лучше — об этнической идентичности, т. к. в этой групповой самоидентификации чувства преобладают над представлениями), то его основу составляет культура, которая в форме обычаев, традиций и ценностей впитывается ребенком с младенчества, причем важнейшим компонентом «вхождения в культуру» своего народа является язык как базовая среда функционирования этничности. Кроме культуры содержание этнического самосознания (идентичности) включает и неуловимый, а потому и спорный феномен «национального характера», который все чаще стали называть менталитетом, имея в виду неписанные стандарты социального поведения, которые формируют специфическое представление о нормативном и маргинальном самовыражении и взаимодействии.

Разговор о национальном самосознании необходимо предварить объяснением того, что мы, собственно говоря, будем понимать под категорией «нация». Одно значение, традиционное для российской науки, пришедшее из немецкой философии и психологии, рассматривает «нацию» как высшую стадию развития этноса, используя ее чаще всего применительно к так называемым титульным или «государство-образующим» народам. Второе значение, типичное, в частности, для Франции, рассматривает нацию исключительно как согражданство, т. е. преимущественно политическую самоидентификацию, для которой общность культуры имеет значительно меньшее значение, чем лояльность к государству и принятие общих символических смыслов. В этой логике говорить о национальном самосознании русских вообще невозможно, а рассуждать можно и должно о национальном самосознании россиян, потому что согражданство в нашей стране не русское, а российское.

Возникает вопрос, почему все же я считаю допустимым толковать о русском самосознании? Дело в том, что институт согражданства, в силу национально-территориального характера российской государственности, у нас до сих пор не сложился, хотя бы потому, что в России в соответствии с Конституцией фактически все народы РФ, а не только русский народ, интерпретируются как государство-образующие, а не в качестве национальных меньшинств по отношению к русским — титульному народу государства.

Теперь о чертах, которые, в общем-то, должны присутствовать в национальном самосознании любого народа, однако могут быть выражены с различной долей интенсивности.

Во-первых, это *групповая солидарность*, которая предполагает принятие, в частности, некоей общей символики. Попытка примирить в государственной символике России имперский и советский периоды развития, на первый взгляд, казалась не совсем удачной: советский гимн, который, несмотря на другой текст, все равно воспринимается как советский, довольно странно уживается с двуглавым орлом и трехцветным флагом. Впрочем, вполне вероятно, что через несколько поколений эта странность перестанет осознаваться: сегодня «Марсельеза» — это, прежде всего, гимн Франции, а не революционный марш идущих на баррикады парижан.

Как показывают данные исследований, представители младших возрастных групп (18–25 лет) уже воспринимают российскую государственную символику как единое целое. К слову сказать, так же, как и петербуржцы — «новое-старое» имя нашего города, Ленинградом его продолжают называть почти исключительно пожилые люди и приезжие.

Во-вторых, это *история*, которая существует на уровне и представлений, и чувств, составляя важнейший компонент национального самосознания. Именно через исторические образы воспроизводится единая символическая среда нации, которая объединяет людей как во временном (вертикальном) измерении, так и в горизонтальном смысле, преодолевая половозрастные и социальные различия.

История всегда притягивала и продолжает притягивать внимание людей, о чем косвенно свидетельствует интерес зрителей к исторической телепередаче пятого канала «Суд времени». Дело даже не в том, чья точка зрения — либералов или консерваторов кажется аудитории более убедительной, — поражает уровень ее включенности в эту отнюдь не развлекательную программу. Так, в передаче, посвященной Александру Невскому, своими звонками проголосовало более 40 тысяч человек, что, конечно, никак не исчерпывает всех тех, кто следил за перипетиями спора сторонников и «хулителей» новгородского князя.

Данные серии исследований, которые проводятся моей лабораторией с 1994 г., свидетельствуют о том, что наиболее позитивные чувства петербуржцев вызывают исторические победы русского оружия, а наиболее негативные — его поражения. «Державный» характер исторического сознания характерен не только для русских, но и французов, и британцев, что в определенной степени отражает имперский характер исторической государственности этих народов. Но у России — своя специфика: исторические события и образы скорее разъединяют, чем объединяют россиян. Понятно, что взятие Казани войсками Ивана Грозного или Кавказская война девятнадцатого века по-разному трактуется

и оценивается, с одной стороны, русскими, а с другой, — татарами и кавказскими горцами. Вот почему, кстати, сегодня трудно говорить о национальном самосознании граждан России, в числе которых не одни только русские.

В-третьих, это *патриотизм*, который следует трактовать как любовь к своему отечеству, но вовсе не обязательно к государству. Совершенно дурацкий ярлык 1990-х гг. «национал-патриотизм», брошенный в обиход российскими либералами, почему-то подразумевал именно верно-подданные излияния, а не естественное чувство привязанности человека к своей земле, к стране.

Хочется специально подчеркнуть, что «страна» и «государство» — не одно и то же. Патриот любит свою страну, а государство на уровне его политических институтов, власти к этому может «прилагаться», а может и подвергаться критике. От этого человек не перестает быть патриотом.

Открытый вопрос, включенный нами в одно из последних исследований лаборатории в качестве косвенного индикатора патриотизма, предлагал назвать три слова, которые у респондента чаще всего ассоциируются с понятием «Россия». Оказалось, что Россия — для большинства, независимо от половозрастных различий — это «Родина», «матушка», «родная земля». Многие ассоциации связаны с масштабом географического пространства страны («просторы», «раздольная», «бескрайняя») и ее «державными» атрибутами («мощная», «сильная», «непобедимая»). Учитывая крайне негативное отношение людей к существующей власти, создавалось впечатление, что, по мнению участников опроса, Россия сохраняет мощь и силу, *несмотря* на государственную машину, а не *благодаря* ей. Так что, по-видимому, даже державность неосознанно и парадоксально трактуется русским сознанием как некая историческая эманация страны, преодолевающая чаще всего негодные политические институты.

Таков русский патриотизм как основа национального самосознания, которое, конечно, этими тремя чертами не исчерпывается, однако, на мой взгляд, является его ядром.

— *Как вы оцениваете современные процессы этнокультурного развития и политической самостоятельности стран СНГ? Свидетельствуют ли они о радикальной трансформации на территории бывшего Советского Союза?*

— Постсоветское пространство, с одной стороны, чрезвычайно структурировано, а с другой, — обладает некими общими чертами.

Первое и главное. Все постсоветские государства, кроме Российской Федерации, приняли модель национального государства, но не в том виде, в каком она, эта модель, сегодня существует в западном обществе. Т.е. не формируется нация как согражданство, а «этнонация», нация как

государственная форма этничности. Такая трактовка национальной модели предполагает приоритет титульного народа над национальными меньшинствами и невольно подводит к прямому или косвенному выдвиганию идеи «Грузия для грузин», «Латвия для латышей» и т. п. Не говоря уже о том, что подобный подход никак не соответствует современному уровню государственного строительства и фактически признает правомочность национализма в традиционном понимании этой категории, для постсоветского пространства он вдвойне опасен и фактически провоцирует этнические конфликты. Почему?

В силу многих исторических обстоятельств расселение народов, на том или ином этапе исторического развития вошедших в состав российского государства, оказалось смешанным и поэтому вычленение исторически «исконных» территорий отдельных этнических групп не представляется возможным. Поэтому в свое время границы советских республик лишь приблизительно очертили то пространство, где тот или иной советский народ имел численное большинство и поэтому стал титульным в данной республике. К тому же в некоторых случаях заведомо «смешанные» территории передавались республике по идеологическим соображениям, так, например, Карабах попал в состав Азербайджана, а Донбасс — в состав Украины.

Пока территория государства была едина, пусть условно и поделена на автономии разного уровня субъектности, границы эти особого значения не имели, но после 1991 г., особенно на фоне формирования этнонациональных государств, границы, став государственными, приобрели «провоцирующий» характер.

Напомню хотя бы для справки, что на момент распада СССР число русских в Латвии составляло 39 %, а в Казахстане — 42 %, и статус национального меньшинства мог бы их удовлетворить только в том случае, если бы их конституционные права соблюдались, а их не превращали бы фактически в людей «второго сорта» в силу ограничения возможностей образования и статусного роста.

На мой взгляд, сегодня еще не все постсоветские границы утвердились, конечно, не в правовом измерении, а на уровне их социально-психологического и символического признания. Русского в Крыму или в Уральске, конечно, можно превратить в украинца или казахстанца, но только, образно говоря, «перегнув через колено». Идеология мультикультурализма, которая Западу не очень-то подошла, прежде всего потому, что почти все меньшинства западных стран сформировались из числа недавних мигрантов, как раз для постсоветских государств оказалась бы оптимальной, не мешая перспективной гражданской интеграции. Однако этого, к сожалению, не происходит.

Причин, на мой взгляд, несколько, назову главную. Национальным элитам удобнее утверждаться на идее доминирования, а не интеграции, это более выигрышная и более простая позиция. Бесспорно, мешает и непреодоленный до сих пор комплекс неполноценности по отношению к «старшему брату», который кроме разъединяющей национальной идеологии продуцирует еще и синдром русофобии, увеличивающей социально-психологическую дистанцию не только по отношению к русским в России и самой России, но и к тем русским, которые живут здесь же, по соседству.

По поводу этнокультурного развития я уже частично ответила, т. к. русофобия как составляющая системы социальных стереотипов и установок не может не влиять на содержание и направленность национального самосознания. Подкрепляет эту опасную для открытого и толерантного взаимодействия с соседями позицию еще и содержание школьных учебников по истории, в которых период существования той или иной территории в составе России трактуется исключительно как насильственное присоединение, оккупация, причем нередко вопреки исторической правде. В частности, это относится к украинским учебникам, которые я изучила «вдоль и поперек», т. к. в рамках одного коммерческого проекта проводила их контент-анализ как раз на предмет освещения образов России и русских в их материале. То, что сегодня произведения Гоголя в украинских школах изучаются в переводе на украинский язык, а все упоминания о «Русской земле» из «Тараса Бульбы» старательно вымарываются, по моему, говорит о многом и комментариев не требует.

Будем надеяться, что со временем издержки советского прошлого перестанут довлеть, прежде всего, над сознанием элит, и тогда национальное самосознание станет более открытым, доброжелательным и толерантным. На «образе врага» здорового сознания народа не построишь.

— *Каков, по-вашему, социологический диагноз нашего времени?*

— Думается, что это время переосмысления сути и результатов модернизации. Экономическая и во многом политическая модернизация состоялись, но попытки ускоренной ценностной модернизации и глобализации неизбежно привели к культурному конфликту, который продолжает усугубляться. Глобальные сети, Интернет и массовая культура пока еще не способны унифицировать культурное пространство и привить всему человечеству единую систему ценностей и стандартов. Это надо признать и с этим надо считаться.

Почему ни к чему не привело ни советское, ни сегодня западное вмешательство в дела того же Афганистана? Потому что повторяется одна и та же ошибка переноса системы ценностей современной, христиан-

ской по происхождению, цивилизации (а к ней, даже в советское время, несмотря на идеологическую оболочку, продолжала относиться и наша страна) в иную цивилизационную нишу со своими традициями, обычаями и стандартами. Это положение вовсе не противоречит идее открытости современного общества. Просто его ценности должны утверждаться не силой оружия, не силой вообще, а стратегией «малых дел» — гуманитарной помощью, финансированием образовательных и медицинских программ, привлечением молодежи из стран «третьего мира» к образованию в лучших европейских вузах и т. п. Наглядной демонстрацией преимуществ ценностей общества постмодерна.

К сожалению, сегодня культурный глобализм фактически означает идеологию «евроцентризма», несмотря на демонстративный отказ от этой идеи в пользу мультикультурализма, который на фоне усиливающихся миграционных потоков в Европу оказывается несостоятельным. На мой взгляд, после окончания Второй мировой войны политика привлечения трудовой миграции из стран Азии и Африки не была «прощитанной» в культурном отношении, хотя и экономически целесообразной. Она привела к неустойчивому, внутренне конфликтному симбиозу не только различных, но во многом взаимоисключающих культурных моделей внутри западного общества. Наглядный пример — это положение женщины в современной Европе, с одной стороны, и в исламской традиции, — с другой, которой следуют те же арабы или турки — граждане Франции и Германии.

Необходим поиск новых стратегий «сожительства» культур в рамках одного общества. Конечно, это сложно, но нельзя обманывать себя заклипаниями о толерантности: для толерантных отношений необходимо желание обеих сторон диалога, а не только одной, европейской стороны. Общество должно быть интегрированным, именно культурную интеграцию, а не параллельное существование следует предложить мигрантам неевропейского происхождения в странах ЕС. На этом, как представляется, должна быть основана и перспектива развития и сближения российских народов.

Культурный конфликт нередко становится предтечей конфликта этнического. Поэтому и ученые, и политики должны ответственно относиться к утверждению на символическом уровне «картины мира», в которой сосуществуют не просто разные культурные традиции, а разные этнические группы со своими нормами, стандартами, со своим менталитетом.

— *Каково ваше теоретическое кредо?*

— Скорее не теоретическое, а профессиональное. Идти не от теории к социологическому факту, пытаюсь его «подмять» под определенный

умозрительный конструкт, а, наоборот — от факта восходить к теории среднего уровня. Именно социологические факты убедили меня в несостоятельности существующих этносоциологических теорий и привели к попытке создать интегральную ситуативную теорию этничности, фрагментарно изложенную мною в работах последних лет. Сейчас я готовлю монографию с более полным ее изложением.

Как преподавателю мне близка мысль академика Александрова, ректора нашего университета в те годы, когда я училась: «Студент — не стакан, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь». Мысль в общем простенькая, но следуют ей, к сожалению, не все преподаватели. В особенности, думаю, это относится к творческим профессиям, а прикладная социология — профессия именно творческая.

— *Какие этнологические, антропологические и социологические проблемы и темы привлекают вас в начале XXI столетия?*

— Частично на этот вопрос я уже ответила. Ограничусь социологическими проблемами, достойными пристального анализа любого российского социолога.

1. Усугубляющееся социальное расслоение, которое вызывает неприятие всюду, но особенно в России, где идея равенства постулировалась не только в советской идеологии, но и была элементом культурной традиции. Демонстрация богатства, именно не достатка, а богатства, которое услужливо тиражируют печатные и электронные СМИ, раздражает небогатых людей, а их подавляющее большинство, и продуцирует чувства зависти, неприязни, агрессии.
2. Последствия культурного конфликта, которые проявляются как в глобальном масштабе, так и в России. В России — особенно сильно, вследствие огромной социокультурной дистанции между городом и селом, сохраняющейся до сих пор, не говоря уже об этнокультурных дистанциях между отдельными российскими народами. Так же, как и социальное расслоение, культурный конфликт приводит к формированию латентных микроконфликтов на межличностном и межгрупповом уровне.
3. Фактическое противостояние элит и прочего населения, особенно актуальное для России, которое можно обозначить как проблему отсутствия взаимодействия «власти и народа». «Народ» терпит «власть» в лице миллионной армии чиновников, потому что альтернатива терпению — баррикады. А это Россия уже в XX в. «проходила» и кровавые уроки сохранила в исторической памяти. На мой взгляд, игнорирование этого противостояния для России еще опаснее, чем тлеющие этнические конфликты и противоречия.



4. Объективная и беспристрастная оценка, а если нужно, то и переоценка исторического опыта, который до сих пор еще является полем идеологических спекуляций, а не позитивного осмысления.

Судя по данным исследований моей лаборатории, именно эти четыре проблемы в наибольшей степени волнуют людей и в той или иной мере препятствуют гражданской консолидации.

— *Что мешает и что помогает вам в научной работе?*

— Помогает энтузиазм, неослабный интерес к окружающей социальной действительности и к современникам, которые волею исторических судеб оказались на очередном историческом перепутье. Социальная трансформация последних двадцати пяти лет в России — благодатная почва для приложения социологической мысли и творчества. В конкретной работе помогает внимание и поддержка коллег по лаборатории, кафедре, НИИКСИ и факультету. Мешает, думаю, как и всем, недостаток финансирования научных исследований. Масса идей осталась нереализованной или реализованной частично только по причине отсутствия денег для размножения методик, оплаты интервьюеров и т. п. Гуманитарная наука сегодня оказалась в забвении, а университетская наука — вдвойне.

— *Ваше хобби?*

— Во-первых, путешествия. Для меня отдых — это не лежание под пальмой на Канарах или, тем более, не окучивание грядок на садовом участке, которого у меня, к счастью, нет. Это открытие для себя незнакомых мест и людей и в России, и в других странах. Познание в пути.

Во-вторых, вождение. У меня поздно появилась машина, хотя я всю жизнь мечтала именно водить, а не просто кататься на собственном транспорте. Как ни странно, я отдыхаю за рулем, несмотря на пробки и непредсказуемых, как я их называю, «соучастников движения». Люблю дорогу как таковую, неважно, куда, просто дорогу.

В-третьих, моя коллекция слонов. Собираение началось случайно, тридцать с лишним лет назад, когда муж подарил мне на 8 марта коробку конфет и пластмассового слоника, который продавался с конфетами «в нагрузку». Потом появился второй, третий слоник, и постепенно мне их стали дарить к любому празднику, а я сама в каждом путешествии первым делом ищу местный экземпляр для пополнения своего «стада». Как подсчитала недавно внучка моей приятельницы, в коллекции уже больше 400 экземпляров слонов — плюшевых, фарфоровых, деревянных, из керамики.

— *Ваши научные планы и намерения?*

— Закончить, наконец, монографию с изложением своих теоретических взглядов на феномен этнических отношений. Я уже говорила

о том, что сегодня эти идеи оформлены лишь фрагментарно, «рассыпаны» по отдельным статьям.

Написать книгу по этнопсихолингвистике на материалах русской лексики, чтобы наглядно продемонстрировать, как отражаются в языке модальные качества и ценности народа.

Приступить, понимая, насколько этот материал остается до сих пор «горячим», к написанию «Социологического портрета конца 80-х — начала 90-х годов» (название пока условное).

Начала вместе со своими коллегами работать по гранту РФФИ, посвященному социальным страхам в условиях системной трансформации. Пилотаж, проведенный в этом году, дает основание надеяться на интересные, даже неожиданные результаты.

Просто жить и получать удовольствие — от исследований, писания книг, общения со студентами, коллегами и друзьями, от своих путешествий, наконец. Скажу по секрету, что я — гедонист.

### **Краткая библиография**

Зинаида Васильевна Сикевич родилась 9 мая 1942 г. Праге, в семье русских эмигрантов «первой волны». В 1955 г. семья Зинаиды Васильевны приняла советское гражданство, и она переехала на постоянное местожительство в Ленинград. После окончания школы в 1959 г. поступила на славянское отделение филологического факультета ЛГУ, которое окончила в 1964 г. В течение двух лет после окончания университета работала гидом-переводчиком, сопровождая чешские, словацкие и польские профсоюзные группы. В 1966 г. принята на работу в НИИ комплексных социальных исследований при ЛГУ, во вновь организованную лабораторию социальных проблем молодежи (зав. В.Т. Лисовский) в качестве младшего научного сотрудника. После защиты кандидатской диссертации в 1980 г. перешла на должность старшего научного сотрудника в той же лаборатории. С 1989 г. по настоящее время заведует лабораторией этнической социологии и психологии НИИКСИ. В 1997 г. защитила докторскую диссертацию по теме «Этнический фактор в политических процессах современной России» по специальности «политическая социология». С сентября 1997 г. приступила к работе сначала в качестве доцента, а с 1998 г. — профессора кафедры культурной антропологии и этнической социологии. По совместительству профессор кафедры психологии человека психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена. На факультете социологии читает курсы «Этническая социология», «Этнополитология», «Методы и процедуры социологического исследования», в РГПУ им. А.И. Герцена — курсы «общая социология», «социология и психология семьи», «этническая

психология», «социально-психологические методы, процедуры и техники». Автор более 110 публикаций, в том числе 14 монографий и учебных пособий, из них 4 — в соавторстве. Лауреат конкурса «Гуманитарные науки — гуманитарному образованию». Научный руководитель более 20 исследовательских проектов по российским и зарубежным грантам. Член Диссертационного Совета факультета социологии СПбГУ.

### **Основные публикации**

1. Молодежная культура: «за» и «против». Л.: Лениздат, 1989. 11 п. л.
2. Политические игры или политическая борьба? Политические движения глазами социолога. Л.: Лениздат, 1990. 10 п. л.
3. Этносоциология: национальные отношения и межнациональные конфликты. СПб.:Изд-во СПбГУ, 1994. 11 п. л.
4. Расколотое сознание. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. 10 п. л.
5. Петербуржцы — 1995: этнические образы и стереотипы. В соавторстве, научная редакция. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. 10 п. л.
6. Русские: образ народа. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. 10,5 п. л.
7. Национальное самосознание русских. М.: Ин-т «Открытое общество», 1996. 13 п. л.
8. Петербуржцы — 1997: символы, ценности, установки. В соавторстве, научная редакция. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. 10 п. л.
9. Социология и психология национальных отношений. СПб.: Изд-во Михайлова, 1999. 14 п. л.
10. Петербуржцы — 2004: культурный конфликт современности. В соавторстве, научная редакция. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. 10 п. л.
11. Социальное бессознательное. В соавторстве, научная редакция. СПб.: Питер, 2005. 17 п. л.
12. Социологическое исследование. Практическое руководство. СПб.: Питер, 2005. 15 п. л.
13. Этнопсихология. Учебно-методическое пособие. В соавторстве. СПб.: Ин-т Практической психологии, 2006. 8,5 п. л.
14. Социальная психология этнических отношений. СПб.: Ин-т Практической психологии, 2009. 9,5 п. л.

### **Основные исследовательские проекты**

1. Фонд Мак-Артуров. 1994—1995. «Расколотое сознание»: переоценка ценностей в процессе социальной трансформации в России.
2. Фонд Сороса. 1995—1996. Национальное самосознание русских.
3. РГНФ. 1993—1995. Этнические образы и стереотипы русских.
4. РГНФ. 1996—1999. Трансформация этнокультурной идентичности.
5. РГНФ. 2000—2002. Образ «чужого» в символическом восприятии и оценке.
6. РГНФ. 2004—2006. Динамика нормативных представлений в условиях культурного конфликта изменяющегося общества.

7. РГНФ. 2007–2009. Образ России в восприятии русских, украинцев и белорусов.
8. РФФИ. 2000–2002. Социальное бессознательное. Модель, структура и функции.
9. РФФИ. 2003–2005. Соотношение рефлекслируемых и не рефлекслируемых компонентов в социальном поведении.
10. РФФИ. 2007–2009. Соотношение этнической и национальной идентичности в установках и поведении россиян.
11. РФФИ. 2010–2012. Система социальных страхов в условиях латентного кризиса.
12. Росбалт. 2003. Татары Петербурга: идентичность, культура, специфика.
13. Росбалт. 2006. Русские, украинцы, белорусы. Взаимное восприятие и оценка.
14. Росбалт. 2007. Россия и русские в исторических образах школьных учебников по истории в Украине и Белоруссии (контент-анализ).